
П.А. Ольхов

ИСТОРИЗМ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА И НИКОЛАЯ СТРАХОВА*

Аннотация. В статье намечаются возможности изучения философии истории Л.Н. Толстого в перспективе понимающей критики Н.Н. Страхова и А.А. Григорьева. Особое внимание автор уделяет исследованиям А.А. Григорьева, впервые (к началу 60-х годов XIX в.) выявившим проблему историчности Л.Н. Толстого, – соответствия его познавательно-художественных исканий историческим настроениям, распространенным в послепушкинской отечественной литературе.

Ключевые слова: философия истории, парадигма, тип, органическая критика, историчность

Annotation. The paper outlines the possibility to study L.N. Tolstoy's philosophy of history in a perspective of organic or interpretive criticism (N.N. Strakhov, A.A. Grigor'ev). Particular attention is paid to research the critical heritage of Grigor'ev, firstly represented the problem of Tolstoy's historicity – compliance of his cognitive and artistic pursuit with those historical sentiments, widespread 'after Poushkin' in Russian literature.

Keywords: philosophy of history, paradigm, type, organic critiques, historicity.

Лев Николаевич Толстой не оставил особого труда по философии истории; однако тема историчности присутствовала в его философской публицистике, художественных работах, дневниках, за-

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 10-0300077а.

писных книжках и объемистой переписке. Усердным и многолетним свидетелем этого исторического движения Толстого был Николай Николаевич Страхов (1828–1896) – автор известной критической поэмы о Толстом, весьма укрепившей толстовскую философскую репутацию, неизменный сторонник уже состоявшегося Толстого, после публикации этой поэмы десятилетиями разговаривавший с ним и о нем. Однако для нас важно, что Страхов воспринимал философско-исторические идеи Толстого в определенной сфере разговора, т.е. выступал как последователь и интерпретатор тех рассуждений о Толстом, авторство которых принадлежало Аполлону Александровичу Григорьеву (1822–1864). Впервые в истории восприятия толстовских работ, еще в самом начале 1860-х годов, когда были изданы только ранние его сочинения, А.А. Григорьев толковал Толстого исторично. Он предпринял усилия для описания в историческом статусе тех познавательных настроений, которыми были проникнуты работы писателя, тогда уже замеченного, но никем не выделенного специально.

В 1861 г. Григорьев работал над статьей о Л. Толстом, о чем сообщал Страхову: «Вся статья *непременно* (conditio sine qua non) должна быть под заголовком “явления, пропущенные нашею критикою: граф Л. Толстой и его сочинения”. Первый ее отдел – общий и называется “Взгляд на отношения современной критики к литературе – vox clamantis in deserto”¹». Тут я рассмотрел все направления, не щадя ни одного»². Ф.М. Достоевский, М.М. Достоевский, Н.Н. Страхов и А.А. Григорьев – основные сотрудники журнала «Время», для которого писалась эта объемистая статья о Толстом, – предпочитали сохранять историчность своих авторских и издательских установок «почвенно», избегая жесткой теоретической ангажированности, к чему были привычны тогда многие «литераторы литературы». Важным признавалось целостное понимание, требующее от авторов и соиздателей особой осмотрительности и откровенности. Специфика стиля Л.Н. Толстого, написавшего к тому времени основные свои работы до «Войны и мира», *историчная мера искренности* его трудов, нимало не похожих на отрешенные от жизни сочинения, стала главным предметом исследовательского интереса, целостной, последовательно почвенной или органической понимающей критики А.А. Григорьева и, что для нас немаловажно, была впоследствии поддержана Н.Н. Страховым.

В опубликованной статье Григорьев подчеркнул содержательный смысл «vox clamantis in deserto». Эта библейская цитата была

выведена из заголовка и обособлена в виде общего эпитафия для того, чтобы уточнить необычное, трудно определимое авторское присутствие Толстого в его «разомкнутом» литературно-жизненном мире. Григорьев писал: «Толстой прежде всего кинулся всем в глаза своим беспощаднейшим анализом душевных движений, своею неумолимою враждою ко всякой фальши, как бы она тонко развита не была и в чем бы она ни встретилась. <...> Он первый посмел говорить вслух, печатно о таких душевных дрязгах, о которых до него все молчали, и притом с такою наивностью, которую только высокая любовь к правде жизни и к нравственной чистоте внутреннего мира отличает от наглости. <...> Никто не задал себе вопросов: подлинно ли искренность эта есть непосредственная, наивная, или в ней есть тоже своего рода надломленность и тронутость? И чем эта беспощадная искренность отличается, например, от искренности столь же несомненной, столь же и даже до цинизма смелой реалиста Писемского или от искренности Островского, которая так проста и так в себе уверена, что никогда и не заботится даже показывать публике, что вот, дескать, какая я, искренность: любуйтесь и ужасайтесь?»³ Очевидно, что вопрос о личности таланта оборачивается для Григорьева проблемой осмысления историчности человеческого существования. С позиции Григорьева Толстой был «гласом, вопиющим в пустыне» потому, что он был историчен, его произведения написаны не извне, но изнутри социальности. Именно историчность Толстого позволяет Григорьеву вывести беспощадную, разрушительно-аналитическую искренность его трудов как единственную в своем роде. Поверхностность уже состоявшихся к тому времени попыток определить место Толстого в общем литературном процессе, в которых никто не решился назвать его единственным из всех и никто не заметил подлинные начала его историчности, дает А.А. Григорьеву возможность начать разговор с Толстым о нем самом.

Замечу, что со стороны Григорьева это было вполне правомерно, поскольку он один из основных сотрудников «Времени» знал Л.Н. Толстого лично. Судя по всему, это знакомство со стороны Толстого никогда не достигало обширной симпатии, какую он проявлял в те годы по отношению к А.В. Дружинину, В.П. Боткину, П.В. Анненкову, И.С. Тургеневу или совсем уж закадычным, многолетним товарищам кн. С.С. Урусову и Б.Н. Чичерину, тогда же или позже писавшим о нем⁴.

Как бы то ни было, Григорьев устремлен к органически откровенному и последовательному истолкованию личности Толстого как писателя, причем не самого по себе, но в кругу русских писателей той эпохи. Он ставит вопрос об историческом опыте, мотивирующем стиль мышления Толстого. Этот исторический опыт мы можем увидеть, говоря словами Григорьева, в «преследующем писателя образе». Фактически речь идет о «конкретном идеале» писателя, в данном случае о Толстом как социальном субъекте⁵. Воспроизведу большой фрагмент из статьи Григорьева о Толстом, где он рассуждает об этом: «У самых объективных, равно как у самых субъективных художников можно доискаться одного главного, преследующего их образа. <...> У Толстого точно так же есть этот преследующий его образ, к которому приковался его анализ, то лицо, от имени которого рассказывает он “Детство, отрочество и юность” и которое в “Семейном счастье” меняет только пол и является женщиной. Образ этот раздвояется, но раздвояется только внешне – в “Записках маркера”, в “Люцерне”, являясь князем Нехлюдовым и представляя только крайние, последние грани того анализа, который отличает героя “Детства, отрочества и юности” от других современных героев. <...> Не “пошлость пошлого человека” обличал Толстой, подобно Гоголю; не смеялся он болезненным смехом Гамлета Щигровского уезда над несостоятельностью так называемого развитого человека, как Тургенев; не противопоставлял он, как Писемский, здоровый, хотя и грубоватый, хотя и несколько низменный взгляд на жизнь мишуре сделанных, заказных или подогретых чувствований; не относился, как Гончаров, к идеализму во имя узкой практичности, к праздной мысли во имя узкого и условного дела»⁶. Первоначально кажется, что Григорьев извлекает стиль мышления Толстого из литературной эпохи, делает его внешним по отношению к стилям других писателей и тем самым оправдывает эпиграф: произведения Толстого – «глас вопиющего в пустыне». Но, добавим мы, следуя за Григорьевым, Толстой вопиет именно в пустыне, он говорит изнутри нее, и Григорьев это очень тонко помечает: «Но вместе с тем чувствовалось всеми, что у него <Толстого> есть что-то общее со всеми исчисленными стремлениями». Следовательно, Толстой как писатель находится не вне литературной «пустыни», но внутри нее.

Что же, по мнению Григорьева, дает нам право говорить о Толстом не только как о «гласе вопиющем», но и как о представителе «пустыни»? Послушаем его ответ: «Близкий к Тургеневу поэтиче-

скою нежностью чувства и глубокою симпатиею к природе, но диаметрально противоположный ему своей суровой трезвостью взгляда, беспощадною ко всем мало-мальски необыденным ощущениям, своей враждою ко всякой фальши, как бы она ни была блестяща, – он <Толстой> этими последними качествами был бы всего ближе к Писемскому, если бы это реализм был ему *прирожден*, а не *порожден* анализом. Своим внешним, враждебно-недоверчивым отношением к идеализму он был бы сходен с Гончаровым, если бы заказным образом поставил себе идеальчик в практичности. С другой стороны, своей беспощадностью к пошлости, таящейся не только в пошлом, но во всяком человеке, он как будто развивает задачи Гоголя, но он не плачет ни о каком разбитом кумире, ни о каком условно-прекрасном человеке. Общего у него со всеми этими задачами эпохи одно: отрицание»⁷.

Однако, признавая эту общность Толстого с задачами литературной эпохи, Григорьев говорит о нем как «о временной жертве отрицательного процесса»⁸ и тем самым оправдывает его как писателя, укорененного в истории глубже других. «Отрицанием он, по происхождению и воспитанию разъединенный с почвою, старается, как все, дорыться до почвы, до простых основ, до первоначальных слоев. Особенность его в том, что он роется глубже всех других. Он не удовлетворяется, как Тургенев, тем, чтобы издали благоговейно увидеть почву и поклониться ей в восторге Моисея, узревшего обетованную землю. Ему <...> мало того, чтобы почувствовать только черноземную силу в Уваре Ивановиче⁹, – он хотел бы разгадать и в самом себе поднять эту сиднем сидящую силу. Он не может также, смахнув слои фальшивого идеализма, принять, как Гончаров, за слои настоящие – столь же наносные, но гораздо более грязные слои практичности и формализма; он не останавливается и на тех, по видимому, прочных, но, в сущности, только загрубелых слоях, на которых твердою ногою стоит Писемский; он так же мало способен симпатизировать, положим, хоть Задор-Мановскому или даже Павлу Бешметеву, как Ельчанинову и Бахтиарову, так же мало тетушке ипохондрика Соломонеде, как и Дурнопечину¹⁰. <...> С идеалами же на воздухе, со всяким созиданием сверху, а не снизу, с тем, что погубило нравственно и даже физически самого Гоголя, он способен помириться всего менее. <...> Он только роется вглубь, добросовестно роется, руководимый своим необычайным анализом, и, еще не дорывшись, кончает пантеистическою скорбью “Люцерна” – скорбью за жизнь и

ее идеалы, отчаянием за все сколько-нибудь сделанное в душе человеческой, отчаянием, очевидным в “Трех смертях” из которых самую нормальную является смерть дуба, суровую покорностью судьбе, не щадящей цвета человеческих чувств в “Семейном счастье”, и затем – апатиею, без сомнения, временною и переходною. Апатия ждала непременно на середине такого глубоко искреннего психического процесса, но что она не конец его, – в этом, вероятно, никто из верующих в силу таланта вообще и понявших силу таланта Толстого даже и не сомневается»¹¹.

Григорьев характеризует стиль мышления Толстого, исторически ориентирующий его способ письма, как познавательный интерес, «преследующий» писателя в самых разных его литературно-жизненных состояниях, которые всегда оказываются состояниями крайнего познавательного одиночества – «отчаяния анализа» (отсюда и апатия, неизбежно приходящая на смену «добросовестному рытью»). Именно крайности толстовского анализа, отрицающего завершенность или окончательность чего бы то ни было (в том числе и самого отрицания), подводят Григорьева к выяснению общих смыслов аналитической добросовестной работы Толстого¹². Григорьев исторически оправдывает беспощадное и искреннее толстовское отрицание и поэтому считает необходимым переработать и включить в состав статей о Толстом уже опубликованные им исследования о «цельной натуре Пушкина», поскольку «в ее борьбе с различными тревожившими ее и пережитыми ею идеалами заключается слово разгадки наших стремлений»¹³. Он обращается к Пушкину как к историческому истоку, давшему начало русской литературе как «отрицательному процессу». «Пушкин все наше перечувствовал – от любви к загнанной старине до сочувствий к реформе, от наших страстных увлечений блестящими, эгоистически-обаятельными идеалами до смиренного служения Савелия (“Капитанская дочка”), от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления <...> и только смерть помешала ему воплотить наши высшие стремления. <...> Я говорил уже и говорю, что за исключением совершенно новых в литературе нашей явлений, имеющих только общеисторическую, преемственную связь с Пушкиным, каковы со всеми их достоинствами и недостатками Кольцов, Островский, Некрасов и Достоевский, – в нашей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что в своем зародыше не находилось бы у Пушкина»¹⁴. Характеризуя цельность, историческую открытость и образное единство пушкинского опыта,

Григорьев находит, что искреннее отрицание – один из моментов этого историчного опыта. Наиболее ясное и обнадеживающее олицетворение отрицательного начала у Пушкина, «того лица»¹⁵, которое переменчиво и неуклонно все еще уточняется Толстым для себя, – персонаж поздних пушкинских повестей И.П. Белкин. «Весь отрицательный процесс наш, не исключая даже и самого Гоголя, по прямой линии ведет свое начало от взгляда на жизнь Ивана Петровича Белкина. <...> Что же такое этот пушкинский Белкин, – тот самый Белкин, который проглядывает потом под другими формами в повестях Тургенева, – которому в произведениях Писемского страшно хотелось взять верха над фальшиво блестящим и фальшиво страстным типом, – которому с излишком, через меру дает права Толстой?.. Белкин пушкинский есть простой здравый толк, простое здоровое чувство, кроткое и смиренное, – толк, вопиющий против всякой блестящей фальши, чувство, восстающее законно на злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать»¹⁶. Пушкинский Белкин ничуть не последний герой Пушкина, не «пестрый сор» пушкинской отзывчивости напоследок; напротив, он есть уже литературно-жизненный образ всерьез, образ здравомыслия – дело позднего Пушкина, который уже вполне отдает себе отчет в том, что литература становится жизнью тогда, когда перестает преклоняться перед жизнью, и не принимает литературу за некое исключительно добротное перевоссозданное, чистое средоточие жизни. Белкин существует в историчном познавательном *между*: он именно временно олицетворенный «конкретный идеал» – «законный тип», реальный и в жизни, и в литературе. «Это начало отрицательное, и право оно только как отрицательное, ибо предоставьте его самому себе – оно способно перейти в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова»¹⁷. С такими, как Белкин, «немыслима никакая история. Из таких не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины. Увы, на одних добрых и смиренных людях, умей они даже и умирать так, как умирает солдат Веленчук у Толстого, будь они и благодущны до пантеистической любви ко всей твари, как старик Агафон у Островского, – далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна»¹⁸.

Белкин для Пушкина важен тем, что он находится не в истории «как таковой», но говорит из исторического зазеркалья, заметного только тем, кто знает, что легко принимать образы истории за единственную ее реальность. Не ироник, не теоретик, не скептик,

Белкин в истолковании Григорьева – непосредственное, «удивительное» олицетворение здравого смысла, в котором ограничена и усмирена его беспощадность. Толстому труднее, чем Пушкину: доверие к другому лицу для Толстого – предмет аналитического внимания и литературного разбора. «Любовь к отрицательному смирному типу родилась у нашего автора не непосредственно, как у писателей народной эпохи литературы, а вследствие глубокого анализа. <...> Анализ развивается в нем рано и подкапывается глубоко под основы всего того условного, чем он окружен, того условного, что в нем самом. Доходя до явлений, ему не поддающихся, он перед ними останавливается. <...> Он поражен простотою, неразложимостью этих явлений. И вот простоты, неразложимости добивается он от самого себя, роется терпеливо и беспощадно строго в каждом собственном чувстве, даже в самом том, которое по виду кажется совершенно святым. <...> Анализ в своей беспощадности заставляет душу признаваться себе в том, в чем не всякая душа себе признается, в том, в чем стыдно себе самому признаться. Мудрено ли, что при огромном таланте анализ изошрился до того, что в “Метели” способен влезть в существо воробья, который “притворился, что клюнул”; в “Военных рассказах” развертывает целую ткань пустых представлений, промелькнувших перед человеком в минуту смерти, до поражающей, несомненной правды. <...> Один только тип остается нетронутым, не подвергнутому сомнению – тип простого смиренного человека»¹⁹. Григорьев очень надеется на то, что необычайная аналитическая искренность Толстого свидетельствует о его жизненных надеждах, его «осознаваемой или неосознаваемой» вере в литературу как фактическую данность жизни, не только внешне-исторической, но и его собственной. Искренняя сила анализа должна была помочь Толстому совершить почти невозможное: понять и принять, как бы заново обжить ту почву принципиально неодиноким историчной жизни, в которой укоренен по существу и его конкретный идеал. Григорьев предлагает «узаконить» два таких «конкретных идеала» или, говоря его словами, «типа»: «тип страстный, и тип смиренный», которые автор может синтезировать: «Доходя в иные минуты до отчаяния анализа и оставивши след этого отчаяния в образе князя Нехлюдова (“Записки маркера” и “Люцерн”), утомленный работой анализа, Толстой, по натуре художник, решился хоть раз успокоиться в разрешении психической задачи менее широкой – и дал нам “Семейное счастье”. О достоинствах этого тихого, глубокого, простого и высокопоэтического произведения, с его отсут-

ствием всякой эффектности, с его прямым и неломаным поставлением вопроса о переходе чувства страсти в иное чувство»²⁰.

На этом Григорьев заканчивает истолкование исторического стиля мышления Толстого – явления, «пропущенного критикой», понятного типологически, но между тем, как казалось Григорьеву, отнюдь не завершенного в литературно-личностном отношении, только предварительно понятного онтологически – озадачивающего и обнадеживающего своей беспощадной искренностью, устремленной к некой мере, которая пока все же не установилась. Л.Н. Толстой, сохраняя привычку не отвечать своим критикам, «литераторам литературы», публично промолчит и в ответ на григорьевские статьи; однако через годы, заговорив с Н.Н. Страховым, выскажется вполне решительно.

В письме от 1–2 января 1876 г. к Страхову Л.Н. Толстой замечает: «...я совсем несогласен с вами о делении людей на деятельных и пассивных и о том значении, которое вы придаете тем и другим. Виноват, но я слышу тут отголосок неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смиренных типах, которой я никогда не понимал. Самое деление неправильно. Противуположное смирному есть бунтующий или горящий, но не хищный. Главное же, самая мысль неверна. Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный, независимый ум, дань Петербургу и *литтературе*. Вы говорите: лучшие силы не деятельны, а те деятельны. Да ведь это только в литературе. То есть одни знают, что сами ничего не знают, и учатся, а другие, невежды и тупицы, ничего не зная, учат и не учатся. Но это только в литературе. А в (маленькой штучке) в жизни? Кто пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует, главное, рождает и воспитывает себе подобных и лучших? Все недейтельные, пассивные люди. Это совсем, совсем неверно»²¹. По виду совсем неожиданное, суховатое формальное обличение А.А. Григорьева. «Неправильным делением» Толстой называет то, что он «никогда не понимал»: содержательное несоответствие или даже речевую бедность типологической установки Григорьева-критика своему собственному все время содержательно уточняемому историчному кредо, все сильнее охватывавшему его недоверию к литературе как некоторой жизненной подлинности. Это мнение Толстого перекликается с мнением Страхова, высказанным Толстому в письме от 5 февраля 1876 г.: «В первом томе “Сочинений Ап. Григорьева” (я теперь держу корректуру) речь часто идет об Вас, и я удивляюсь его проницательности. К

Вам он относится с величайшим уважением, но видит в Вас самого крайнего представителя начала, с которыми борется, от которых старается отстоять свое “тревожное начало”, “романтическое веяние”. Книга при всем безобразии изложения будет очень содержательна, очень поучительна; не было человека, который бы в такой степени жил литературой. <...> Григорьев издавна чувствовал Ваше пришествие, но он не верил, что это будет пришествие в славе, и упорно отстаивал то тревожное веяние, среди которого вырос. Мне придется написать хоть небольшое предисловие»²². Чем последовательнее раскрывает Л.Н. Толстой свое неожиданное впечатление о Григорьеве, тем последовательнее и неожиданнее ответы Страхова.

Л.Н. Толстой пишет: «Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за присылку Григорьева»²³. Я прочел предисловие, но – не рассердитесь на меня – чувствую, что, посаженный в темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю Григорьева – напротив, но критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В умной критике искусства все правда, но не вся правда, а искусство потому только искусство, что оно *все*»²⁴. Н.Н. Страхов отвечает: «Искусство – все, Вы пишете; да так именно и думал Ап. Григорьев, и он один так думал. Можно сказать, что его книга написана *против критики*»²⁵.

Держась своего, Л.Н. Толстой пишет, наконец, о познавательном начале того кредо, которое он издавна вырабатывает и уточняет, о чем только вскользь, стилистически заметил А.А. Григорьев: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собраний мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения. <...> Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и Вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же, правда, что когда 9/10 всего печатанного есть критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность

искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений»²⁶. Безоговорочное признание Толстым деятельно-единого, невысказываемого, «чего-то другого», познавательного начала, которое как будто неявно спланирует, «сцепляет» внутри и между собою различные мыслительные действия, означает, что в григорьевском предварительном понимании толстовских трудов было немало несбыточного и фактически поспешного. Толстой и не предполагал искать «то лицо» как некую последнюю типологическую очевидность или полноту; его литературно-личностные находки – вполне искренний, широкий горизонт его беспощадного познавательного настроения, аналитически опротестовывающего какую бы то ни было полноту единственного лица. Толстовские «лица», схожие с пушкинским Белкиным, у Толстого характерно немотствуют – как в отношении отвлеченных слов, так в отношении собеседников; их познавательные «сцепления» происходят как бы за пределами лицеприятий. Толстой еще в рассказе «Рубка леса» предложил свое подробное типологическое описание подобных смиренных лиц²⁷. Здесь и «покорный и хлопотливый малороссиянин» Веленчук²⁸, и замеченный А.А. Григорьевым дяденька Жданов, и «слишком смиренный и невидный, чтобы быть произведенным в фейерверкеры»²⁹ и «простодушный и милый» батальонный адъютант³⁰. В еще более раннем «Набеге» к такому типу относится капитан Хлопов, избегающий отвлеченных понятий, которого Григорьев, характерно оговариваясь или ошибаясь, называет в своей статье капитаном Храбровым³¹.

Всесторонне непосредственный Белкин, свидетельствующий о пушкинском мире русской жизни и вполне ясного русского слова, преобразовывается и уточняется Толстым в «Двух различных версиях улья с лубочной крышкой». Изначально иносказательно, отвлеченно и в сцеплениях здесь существует историк Прупру – во всем хваткий и настойчивый, усердно внимательный ко многим свидетелям истории как таковой, которая между тем остается для него только историей лицеприятного трутня как такового, научно, без видимой корысти заинтересованного общими чертами только своего басенно-роевого лица. Прупру, историк *ex professo*, невольно и концептуально лицеприятный трутень, саркастически альтернативен Белкину и характерно безлик. Его собственное имя, постепенно утрачиваемое по ходу историографического изложения (история заканчивается как написанная трутнями, без указания на авторство), звукоподражательно и является в смысловом отношении неотчетливой, скрытой совокупно-

стью различных речевых смыслов, «общим местом» ничьей речи. Мир улья с лубочной крышкой последовательно безлик: разнообразное белкинское начало существенно дифференцировано. Л.Н. Толстой по-своему историзует Белкина: дробит смысловое единство этого лица и одновременно стремится удерживать и расширять это единство иносказательно и исторично. Белкин поучителен для Толстого, но отнюдь не решена проблема Белкина – проблема познавательно неразложимого и невысказываемого в фактической истории, того, что еще А.А. Григорьевым было замечено как «удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение»³².

«Две версии истории улья с лубочной крышкой» написаны к концу 1880-х годов, десятилетия спустя после того как Толстой с особенным вниманием стал заниматься Пушкиным (первая дневниковая запись о Пушкине сделана еще в 1854 г.³³; первое сильное увлечение пушкинским наследием – в 1856–1857 гг.³⁴; к «Повестям Белкина» особенно внимателен в 1873 г.³⁵); однако и Пушкин, с его интересом к истории, и пушкинский «удивительный» историк Белкин останутся предметом аналитического, дифференцирующего внимания Толстого. Обнаруженная А.А. Григорьевым проблема Белкина, «того лица» в истории, всегда будет тревожить Толстого – как вопрос возвратного и встречного понимания «искреннего своего», исторического другого, существующего прежде исторических теорий и общих концептуализаций исторических смыслов.

* * *

Особое внимание к исследованиям А.А. Григорьева, предвещающим работы Н.Н. Страхова о Л.Н. Толстом, было проявлено Б. Сорокиным еще в работе 1976 г.³⁶; однако вопрос о преемственности Григорьева и Страхова в уяснении или истолковании исторического кредо Толстого остается открытым. Решение этого вопроса затруднено многими обстоятельствами, среди которых заметна и речевая порывистость Григорьева, его склонность увлекаться расхожими словами или именами, хотя бы и обновляя их, – как это произошло в случае с «типом», уже по-своему испытанным и понятым самим Толстым, или «искренностью», о которой знал практически и Толстой и все ближайшие его собеседники. Увлеченно-свободное отношение А.А. Григорьева к стилю мышления Толстого оказалось под силу положительно изжить Н.Н. Страхову, сумевшему уточнить суждения Григорьева

и в процессе чтения Толстого и разговоров с ним переосмыслить проблему историчности его произведений, впервые обстоятельно представшую в контекстах григорьевских статей.

Примечания

¹ Глас вопиющего в пустыне (*лат.*).

² Григорьев А.А. Письмо Н.Н. Страхову. 12 декабря 1861 г. Оренбург // Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. – Т. 2: Статьи. Письма. – М.: Художественная литература, 1990. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0450.shtml

³ Григорьев А.А. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. 1: Граф Л. Толстой и его сочинения // Время. – 1862. – № 1. – Режим доступа: <http://smalt.karelia.ru/~filolog/vremja/1862/Jan/Tolstoy.htm>

⁴ О переписке Толстого с Григорьевым ничего неизвестно; в дневниках Толстого Григорьев упоминается только дважды, в кратких записях 1856 г.: «18 мая во второй половине дня ...на дачу в Кунцево пришли Дружинин, Боткин, «вечером пришел Григорьев и мы болтали до 12-ти весьма приятно». См.: Толстой Л.Н. Дневник 1856 г. // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. – М., 1937. – Т. 47: Дневники и записные книжки, 1854–1857. – С.73. А.А. Григорьев в письмах к Дружинину вспоминал эту встречу как «препоэтическую ночь, жаркую беседу». Там же. – С. 324. «3 ноября... Обедал у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения. Зачем? не знаю». Там же. – С. 98. В последующие годы Толстой никогда не пишет о Григорьеве ничего специально и ни с кем, кроме как с Н.Н. Страховым, не переписывается о нем сколько-нибудь содержательно – при том, что инициатива обсуждения всегда исходит от Страхова.

⁵ См. об этом рассуждения Г.Г. Шпета: «Последний <социальный субъект> живет, пока не исчезло, какое бы то ни было свидетельство его творчества. Поэтому, и обратно, можно сказать, что и в каждом своем “отдельном” произведении субъект дан целиком, но только субъект данного момента. Субъект данного момента, и это надо подчеркнуть, значит данного произведения. В другом произведении он – другой, и, в то же время, в обоих – один». Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г.Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 483.

⁶ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая // Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Персонаж романа И.С. Тургенева «Накануне». – Прим. П.О.

¹⁰ Герои произведений А.Ф. Писемского «Боярщина», «Ипохондрик», «Тюфяк». – *Прим. П.О.*

¹¹ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая // Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

¹² Материалы дневников, записные книжки и иные рукописи Л.Н. Толстого показывают, что он не думал тогда о себе с такой литературно-личностной определенностью, в такой тесной смысловой связи с рассказанными им литературными историями, которую замечает и исследует А.А. Григорьев (оговариваясь, впрочем, о том, что Толстой соблюдает эту связь «осознанно или неосознанно»).

¹³ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая // Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

¹⁴ Там же.

¹⁵ Имеется в виду социальный субъект, от имени которого автор ведет рассказ.

¹⁶ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая // Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения: Статья вторая / Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

²⁰ Григорьев А.А. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая / Сочинения: В 2 т. – Т. 2. Статьи. Письма. – М.: Художественная литература, 1990. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

²¹ Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхову. 1–2 января 1876 г. Ясная Поляна // Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов: Полное собрание переписки. – Оттава, 2003. – Т. 1: Группа славянских исследований при Оттавском университете; Государственный музей Л.Н. Толстого / Ред. А.А. Донсков; Сост. Л.Д. Громова, Т.Г. Никифорова. – С. 244.

²² Н.Н. Страхов – Л.Н. Толстому. 5 февраля 1876 г. Санкт-Петербург // Там же. – С. 247.

²³ Имеется в виду книга: Сочинения Аполлона Григорьева. Издание Н.Н. Страхова. – СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1876. – Т. 1: (С портретом). – *Прим. П.О.*

²⁴ Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхову. 8–9 апреля 1876 г. Ясная Поляна // *Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов: Полное собрание переписки.* – Оттава, 2003. – Т. 1. – С. 259.

²⁵ Н.Н. Страхов – Л.Н. Толстому. Вторая половина апреля 1876 г. Санкт-Петербург // Там же. – С. 265.

²⁶ Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхову. 23 и 26 апреля 1876 г. Ясная Поляна // Там же. – С. 267–268.

²⁷ Н.А. Некрасов в письме к И.С. Тургеневу (18 августа 1855 г.): «В IX № “Совр.” печатается посвященный тебе рассказ юнкера: “Рубка лесу”. Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь донныне небывалая в русской литературе. И как хорошо!». Цит. по: *Пыпин А.Н.* Н.А. Некрасов. – СПб., 1905. – С. 135. – Л.Н.Толстой посвящал рассказ Тургеневу, поскольку «невольню подражал его рассказам» (Толстой Л.Н. – И.И. Панаеву. 14 июня 1855 г. Бельбек // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. – М., 1935. – Т. 59: Письма 1844–1855. – С. 315), в том числе и «Трем портретам». Однако это подражание, и в самом деле невольное, было далеким от подражания, «схватывающего одну внешность». (*Пыпин А.Н.* Н.А. Некрасов. – СПб., 1905. – С. 135). – Более того, Н.А. Некрасов настаивал, что «формой она точно напоминает Тургенева, но этим и заканчивается сходство; все остальное принадлежит вам и никем, кроме вас, не могло бы быть написано» (Некрасов Н.А. – Л.Н. Толстому. 2 сентября 1855 г. // Нива. Ежемесячные литературные приложения. – СПб., 1898. – С. 344). Толстой подражает Тургеневу в своем интересе к типу, но все остальное, в том числе и вторая часть рассказа, в которой внезапно, небывало для художественной литературы, предлагается явное дихотомическое описание смирных, или, как тогда писал Толстой, «покорных» лиц – «покорных хладнокровных» и «покорных хлопотливых». См.: *Толстой Л.Н.* Рубка леса. Рассказ юнкера // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. – М., 1935. – Т. 3: Произведения 1852–1856 гг. – С. 43.

²⁸ *Толстой Л.Н.* Рубка леса. Рассказ юнкера // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. – М., 1935. – Т. 3: Произведения 1852–1856 гг. – С. 44.

²⁹ Там же. – С. 48.

³⁰ Там же. – С. 63.

³¹ Капитан Хлопов отклоняет расспросы волонтера, который ищет определений храбрости: «Что же вы называете храбрым? – Храбрый? храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: – *храбрый тот, который ведет себя как следует*, сказал он, подумав немного». *Толстой Л.Н.* Набег. Рассказ волонтера // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. – М., 1935. – Т. 3: Произведения 1852–1856 гг. – С. 16–17. Григорьев, оговариваясь, невольно сличает прозаически смиренного капитана Хлопова с персонажем поэмы В.Л. Пушкина – замысловатым капитаном Храбровым, «романтиком новым», от

имени которого написана поэма. См.: *Пушкин В.Л.* Капитан Храбров // Русская романтическая поэма. – М., 1985. – Режим доступа: http://az.lib.ru/p/pushkin_w_l/text_0010.shtml

³² *Григорьев А.А.* Граф Л.Толстой и его сочинения: Статья вторая // *Григорьев А.А.* Сочинения: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1990. – Т. 2: Статьи. Письма. – Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0440-2.shtml

³³ *Толстой Л.Н.* Дневник 1854 г. // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. – М., 1937. – Т. 47: Дневники и записные книжки, 1854–1857. – С. 9–10.

³⁴ См.: *Толстой Л.Н.* Дневник 1856 г. // Там же. – С.78–81; *Толстой Л.Н.* Дневник 1857 г. // Там же. – С. 108–111.

³⁵ Дневники С.А. Толстой, 1860–1891. – М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых. 1928. – С. 35–36.

³⁶ *Sorokin B.* Moral regeneration: N.N. Strakhov's «Organic» critiques of War and Peace // *The Slavic and East European Journal.* – AATSEEL of the US., Inc., 1976. – Vol. 20, N 2. – P. 130–147.